

Александр Иванович Куприн

# На переломе



Александр Куприн  
**На переломе**

«Public Domain»

1900

## **Куприн А. И.**

На переломе / А. И. Куприн — «Public Domain», 1900

«Буланин даже и не подозревал, что этот окрик относится к нему – до того он был оглушен новыми впечатлениями. Он только что пришел из приемной комнаты, где его мать упрашивала какого-то высокого военного в бакенбардах быть понисходительнее на первых порах к ее Мишеньке...»

© Куприн А. И., 1900

© Public Domain, 1900

# Содержание

I	5
II	9
III	14
Конец ознакомительного фрагмента.	17

## Куприн Александр На переломе (Кадеты)

### I

*Первые впечатления. – Старички. – Прочная пуговица. – Что такое маслянка. – Грузов. – Ночь.*

– Эй, как тебя!.. Новичок... как твоя фамилия?

Буланин даже и не подозревал, что этот окрик относится к нему – до того он был оглушен новыми впечатлениями. Он только что пришел из приемной комнаты, где его мать упрашивала какого-то высокого военного в бакенбардах быть понисходительнее на первых порах к ее Мишеньке. «Уж вы, пожалуйста, с ним не по всей строгости, – говорила она, глядя в то же время бессознательно голову сына, – он у меня такой нежный... такой впечатлительный... он совсем на других мальчиков не похож». При этом у нее было такое жалкое, просящее, совсем непривычное для Буланина лицо, а высокий военный только кланялся и призывал шпорами. По-видимому, он торопился уйти, но, в силу давнишней привычки, продолжал выслушивать с равнодушным и вежливым терпением эти излияния материнской заботливости...

Две длинные рекреационные залы младшего возраста были полны народа. Новички робко жались вдоль стен и сидели на подоконниках, одетые в самые разнообразные костюмы: тут были желтые, голубые и красные косоворотки-рубашки, матросские курточки с золотыми якорями, высокие до колен чулки и сапожки с лаковыми отворотами, пояса широкие кожаные и узкие позументные. «Старички» в серых каламянковых блузах, подпоясанных ремнями, и таких же панталонах сразу бросались в глаза и своим однообразным костюмом и в особенности развязными манерами. Они ходили по двое и по трое по зале, обнявшись, заломив истрепанные кепи на затылок; некоторые перекликались через всю залу, иные с криком гонялись друг за другом. Густая пыль поднималась с натертого мастикой паркета. Можно было подумать, что вся эта топчущая, кричащая и свистящая толпа нарочно старалась кого-то ошеломить своей возней и гамом.

– Ты оглох, что ли? Как твоя фамилия, я тебя спрашиваю?

Буланин вздрогнул и поднял глаза. Перед ним, заложив руки в карманы панталон, стоял рослый воспитанник и рассматривал его сонным, скучающим взглядом.

– Моя фамилия Буланин, – ответил новичок.

– Очень рад. А у тебя гостинцы есть, Буланин?

– Нет...

– Это, братец, скверно, что у тебя нет гостинцев. Пойдешь в отпуск принеси.

– Хорошо, я принесу.

– И со мной поделись... Ладно?..

– Хорошо, с удовольствием.

Но старичок не уходил. Он, по-видимому, скучал и искал развлечения. Внимание его привлекли большие металлические пуговицы, пришитые в два ряда на курточке Буланина.

– Ишь ты, какие пуговицы у тебя ловкие, – сказал он, трогая одну из них пальцем.

– О, это такие пуговицы... – суетливо обрадовался Буланин. – Их ни за что оторвать нельзя. Вот попробуй-ка!

Старичок захватил между своими двумя грязными Пальцами пуговицу и начал вертеть ее. Но пуговица не поддавалась. Курточка шилась дома, шилась на рост, в расчете нарядить в нее Васеньку, когда Мишеньке она станет мала. А пуговицы пришивала сама мать двойной провощенной ниткой.

Воспитанник оставил пуговицу, поглядел на свои пальцы, где от нажима острых краев остались синие рубцы, и сказал:

– Крепкая пуговица!.. Эй, Базутка, – крикнул он пробежавшему мимо маленькому белокурому, розовому толстяку, – посмотри, какая у новичка пуговица здоровая!

Скоро вокруг Буланина, в углу между печкой и дверью, образовалась довольно густая толпа. Тотчас же установилась очередь. «Чур, я за Базуткой!» – крикнул чей-то голос, и тотчас же остальные загалдели: «А я за Миллером! А я за Утконосом! А я за тобой!» – и покамест один вертел пуговицу, другие уже протягивали руки и даже пощелкивали от нетерпения пальцами.

Но пуговица держалась по-прежнему крепко.

– Позовите Грузова! – сказал кто-то из толпы.

Тотчас же другие закричали: «Грузов! Грузов!» Двое побежали его разыскивать.

Пришел Грузов, малый лет пятнадцати, с желтым, испитым, арестантским лицом, сидевший в первых двух классах уже четыре года, – один из первых силачей возраста. Он, собственно, не шел, а влачился, не поднимая ног от земли и при каждом шаге падая туловищем то в одну, то в другую сторону, точно плыл или катился на коньках. При этом он поминутно сплевывал сквозь зубы с какой-то особенной кучерской лихостью. Расталкивая кучку плечом, он спросил сиплым басом:

– Что у вас тут, ребята?

Ему рассказали, в чем дело. Но, чувствуя себя героем минуты, он не торопился. Оглядев внимательно новичка с ног до головы, он буркнул:

– Фамилия?..

– Что? – спросил робко Буланин.

– Дурак, как твоя фамилия?

– Бу... Буланин...

– А почему же не Савраскин? Ишь ты фамилия-то какая... лошадиная.

Кругом услужливо рассмеялись. Грузов продолжал:

– А ты Буланка, пробовал когда-нибудь маслянки?

– Н... нет... не пробовал.

– Как? Ни разу не пробовал?

– Ни разу...

– Вот так штука! Хочешь, я тебя угощу?

И, не дожидаясь ответа Буланина, Грузов нагнул его голову вниз и очень больно и быстро ударил по ней сначала концом большого пальца, а потом дробно костяшками всех остальных, сжатых в кулак.

– Вот тебе маслянка, и другая, и третья?.. Ну что, Буланка, вкусно? Может быть, еще хочешь?

Старички радостно гоготали: «Уж этот Грузов! Отчаянный!.. Здорово новичка маслянками накормил».

Буланин тоже силился улыбнуться, хотя от трех маслянок ему было так больно, что невольно слезы выступили на глазах. Грузову объяснили, зачем его звали. Он самоуверенно взялся за пуговицу и стал ее с ожесточением крутить. Однако, несмотря на то, что он прилагал все большие и большие усилия, пуговица продолжала упорно держаться на своем месте. Тогда, из боязни уронить свой авторитет перед «малышами», весь красный от натуги, он уперся одной рукой в грудь Буланина, а другой изо всех сил рванул пуговицу к себе. Пуговица отлетела с мясом, но толчок был так быстр и внезапен, что Буланин сразу сел на пол. На этот раз никто не рассмеялся. Может быть, у каждого мелькнула в это мгновение мысль, что и он когда-то был новичком, в такой же курточке, сшитой дома любимыми руками.

Буланин поднялся на ноги. Как он ни старался удержаться, слезы все-таки же покатались из его глаз, и он, закрыв лицо руками, прижался к печке.

– Эх ты, рева-корова! – произнес Грузов презрительно, стукнул новичка ладонью по затылку, бросил ему пуговицу в лицо и ушел своей разгильдяйской походкой.

Скоро Буланин остался один. Он продолжал плакать. Кроме боли и незаслуженной обиды, какое-то странное, сложное чувство терзало его маленькое сердце, – чувство, похожее на то, как будто бы он сам только что совершил какой-то нехороший, непоправимый, глупый поступок. Но в этом чувстве он покамест разобраться не мог.

Страшно медленно, скучно и тяжело, точно длинный сон, тянулся для Буланина этот первый день гимназической жизни. Были минуты, когда ему начинало казаться, что не пять или шесть часов, а по крайней мере полмесяца прошло с того грустного момента, как он вместе с матерью взбирался по широким каменным ступеням парадного крыльца и с трепетом вступил в огромные стеклянные двери, на которых медь блестела с холодной и внушительной яркостью...

Одиноким, точно забытый всем светом, мальчик рассматривал окружавшую его казенную обстановку. Две длинные залы – рекреационная и чайная (они разделялись аркой) – были выкрашены снизу до высоты человеческого роста коричневой масляной краской, а выше – розовой известкой. По левую сторону рекреационной залы тянулись окна, полузаделанные решетками, а по правую стеклянные двери, ведущие в классы; простенки между дверьми и окнами были заняты раскрашенными картинами из отечественной истории и рисунками разных зверей, а в дальнем углу лампада теплилась перед огромным образом св. Александра Невского, к которому вели три обитые красным сукном ступеньки. Вокруг стен чайной залы стояли черные столы и скамейки; их сдвигали в один общий стол к чаю и завтраку. По стенам тоже висели картины, изображавшие геройские подвиги русских воинов, но висели настолько высоко, что, даже ставши на стол, нельзя было рассмотреть, что под ними подписано... Вдоль обеих зал, как раз посреди их, висел длинный ряд опускных ламп с абажурами и медными шарами для противовеса...

Наскучив бродить вдоль этих бесконечно-длинных зал, Буланин вышел на плац – большую квадратную лужайку, окруженную с двух сторон валом, а с двух других – сплошной стеной желтой акации. На плацу старички играли в лапту, другие ходили обнявшись, третьи с вала бросали камни в зеленый от тины пруд, лежавший глаголем шагах в пятидесяти за линией валов; к пруду гимназистам ходить не позволялось, и чтобы следить за этим – на валу во время прогулки торчал дежурный дядька.

Все эти впечатления резкими, неизгладимыми чертами запали в память Буланина. Сколько раз потом, за все семь лет гимназической жизни, видел он и эти коричневые с розовым стены, и плац с чахлой травой, вытопанной многочисленными ногами, и длинные, узкие коридоры, и чугунную лестницу, – и так привык к ним, что они сделались как бы частью его самого... Но впечатления первого дня все-таки не умирали в его душе, и он всегда мог вызвать чрезвычайно живо перед своими глазами тогдашний вид всех этих предметов, вид, совсем отличный от их настоящего вида, гораздо более яркий, свежий и как будто бы наивный.

Вечером Буланину, вместе с прочими новичками, дали в каменной кружке мутного сладкого чаю и половину французской булки. Но булка оказалась кислой на вкус, а чай отдавал рыбой. После чая дядька показал Буланину его кровать.

Спальня младшего возраста долго не могла уgomониться. Старички в одних рубашках перебежали с кровати на кровать, слышался хохот, шум возни, звонкие удары ладонью по голому телу. Только через час стал затихать этот кавардак и умолк сердитый голос воспитателя, откликавшего шалунов по фамилиям.

Когда же шум совершенно прекратился, когда отовсюду послышалось глубокое дыхание спящих, прерываемое изредка сонным бредом, Буланину сделалось невыразимо тяжело. Все, что на время забылось им, что заволокло новыми впечатлениями, – все это вдруг припомнилось ему с беспощадной ясностью: дом, сестры, брат, друг детских игр – кухаркин племянник Савка и, наконец, это дорогое, близкое лицо, которое сегодня в приемной казалось таким

просящим. Тонкая, глубокая нежность и какая-то болезненная жалость к матери переполнила сердце Буланина. Ему припомнились все те случаи, когда он бывал с нею недостаточно нежен, непочтителен, порою даже груб. И ему представлялось, что если бы теперь, каким-нибудь волшебством, увиделся он с матерью, то он сумел бы собрать в своей душе такой запас любви, благодарности и ласки, что его хватило бы на многие и многие годы одиночества. В его разгоряченном, взволнованном и подавленном уме лицо матери представлялось таким бледным и болезненным, гимназия – таким неуютным и суровым местом, а он сам – таким несчастным, брошенным мальчиком, что Буланин, прижавшись крепко ртом к подушке, заплакал жгучими, отчаянными слезами, от которых вздрагивала его узкая железная кровать, а в горле стоял какой-то сухой колючий клубок... Он вспомнил также сегодняшнюю историю с пуговицей и покраснел, несмотря на темноту. «Бедная мама! Как старательно пришивала она эти пуговицы, откусывая концы нитки зубами. С какой гордостью во время примерки любовалась она этой курточкой, обдергивая ее со всех сторон...» Буланин почувствовал, что он совершил сегодня утром против нее нехороший, низкий и трусливый поступок, когда предлагал старичкам оторвать пуговицу.

Он плакал до тех пор, пока сон не охватил его своими широкими объятиями... Но и во сне Буланин долго еще вздыхал прерывисто и глубоко, как вздыхают после слез очень маленькие дети. Впрочем, не он один в эту ночь плакал, спрятавшись лицом в подушку, при тусклом свете висячих ламп с контр-абжурами.

## II

*Заря. – Умывалка. – Петух и его речь. – Учитель русского языка и его странности. – Четуха. – Одежда. – Цыпки.*

Тра-та-та, тра-та-та, та, та, та, та...

Буланин только что собирался с новенькой сетью и с верным Савкою идти на перепелов... Внезапно разбуженный этими пронзительными звуками, он испуганно вскочил на кровати и раскрыл глаза. Над самой его головой стоял огромный, рыжий, веснушчатый солдат и, приложив к губам блестящую медную трубу, весь красный от натуги, с раздутыми щеками и напряженной шеей, играл какой-то оглушительный и однообразный мотив.

Было шесть часов ненастного августовского утра. По стеклам сбегали зигзагами капли дождя. В окна виднелось хмурое серое небо и желтая чахлая зелень акаций. Казалось, что однообразно-резкие звуки трубы еще сильнее и неприятнее заставляют чувствовать холод и тоску этого утра.

В первые минуты Буланин никак не мог сообразить, где он и как мог он очутиться среди этой казарменной обстановки с длинной анфиладой розовых арок и с правильными рядами кроватей, на которых под серыми байковыми одеялами ежились спящие фигуры.

Потрубив добрых пять минут, солдат отвинтил у своей трубы мундштук, вытряхнул из нее слюну и ушел.

Дрожа от холода, воспитанники бежали в умывалку, обвязавшись вокруг пояса полотенцем. Всю умывалку занимал длинный узкий ящик из красной меди с двадцатью подъемными стержнями снизу. Вокруг него уже толпились воспитанники, нетерпеливо дожидаясь очереди, толкаясь, фыркая и обливая друг друга. Все не выпались; старички были злы и ругались хриплыми, сонными голосами. Несколько раз, когда Буланин, улучив минутку, становился под кран, кто-нибудь сзади брал его за ворот рубашки и грубо отталкивал. Умыться ему удалось только в самой последней очереди.

После чая пришли воспитатели, разделили всех новичков на два отделения и тотчас же развели их по классам.

Во втором отделении, куда попал Буланин, было двое второгодников: Бринкен – длинный, худой остзеец с упрямыми водянистыми глазами и висячим немецким носом, и Сельский – маленький веселый гимназист, хорошенький, но немного кривоногий. Бринкен, едва войдя в класс, тотчас же объявил, что он занимает «Камчатку». Новички нерешительно толпились вокруг парт.

Вскоре появился воспитатель. Его приход был возвещен Сельским, закричавшим: «Тс... Петух идет!...» Петухом оказался тот самый военный в баках, которого вчера видел Буланин в приемной; его звали Яков Яковлевич фон Шеппе. Это был очень чистенький, добродушный немец. От него всегда пахло немного табаком, немного одеколоном и еще тем особенным не неприятным запахом, который издают мебель и вещи в зажиточных немецких семействах. Заложив правую руку в задний карман сюртука, а левой перебирая цепочку, висящую вдоль борта, и в то же время то поднимаясь быстро на цыпочки, то опускаясь на каблуки, Петух сказал небольшую, но прочувствованную речь:

– Ну, так вот, господа... э... э... как бы сказать... я назначен вашим воспитателем. Да было бы вам известно, что я им и останусь все... весь... э... как бы сказать... все семь лет вашего пребывания в гимназии. Поэтому смею думать и надеяться, что на вас со стороны учителей или, как бы сказать... преподавателей – да, вот именно: преподавателей... не будет... э... не будет поступать неудовольствий и... как бы сказать... жалоб... Помните, что преподаватели суть те же ваши начальники и, кроме доброго... э... э... как бы сказать... кроме добра, вам ничего не желают...

Он помолчал немного и несколько раз подряд то поднимался, то опускался на цыпочках, точно собираясь улететь (его за эту привычку, вероятно, и прозвали Петухом), и продолжал:

– Да-с! Так-то-с. Нам с вами придется прожить вместе очень и очень долгое время... потому и постараемся... э... как бы сказать... не ссориться, не браниться, не драться-с.

Бринкен и Сельский первые поняли, что в этом фамильярно-ласковом месте речи надо засмеяться. Следом за ними захихикали и новички.

Бедный Петух вовсе не обладал красноречием. Кроме постоянных: «э»... слово-ериков и «как бы сказать», у него была несчастная привычка говорить рифмами и в одних и тех же случаях употреблять одни и те же выражения. И мальчишки, с их острой переимчивостью и наблюдательностью, очень быстро подхватили эти особенности Петуха. Бывало, по утрам, будя разоспавшихся воспитанников, Яков Яковлевич кричит: «Не копать, не валяться, не высиживать!..», а целый хор из-за угла, зная заранее, какая реплика следует далее, орет, подражая его интонациям: «Кто там высиживает?»

Окончив свою речь, Петух сделал всему отделению перекличку. Каждый раз, встретив более или менее громкую фамилию, он, подпрыгивая, по своему обыкновению, спрашивал:

– А вы не родственник такому-то?

И, получив большею частью отрицательный ответ, качал головою сверху вниз и говорил мягким голосом:

– Прекрасно-с. Садитесь-с.

Затем он разместил всех воспитанников на парты по двое, причем извлек Бринкена из «Камчатки» на первую скамейку, и ушел из класса.

– Как тебя зовут? – спросил Буланин своего соседа, толстощекого румяного мальчика в черной куртке с желтыми пуговицами.

– Кривцов. А тебя как?

– Меня – Буланин. Хочешь, будем дружить?

– Давай. У тебя родные где живут?

– В Москве. А у тебя?

– В Жиздре. У нас там сад большой, и озеро, и лебеди плавают.

При этом воспоминании Кривцов не мог удержаться глубокого, прерывистого вздоха.

– А у меня есть собственная верховая лошадь, – Музик зовут. Страсть какая быстрая, точно иноходец. И два кролика, ручные совсем, капусту прямо из рук берут.

Петух опять пришел, на этот раз в сопровождении дядьки, несшего на плечах большую корзину с книгами, тетрадями, перьями, карандашами, резинками и линейками. Книги уже были давно знакомы Буланину: задачник Евтушевского, французский учебник Марго, хрестоматия Поливанова и священная история Смирнова. Все эти источники премудрости оказались сильно истрепанными руками предшествующих поколений, черпавших из них свои знания. Под зачеркнутыми фамилиями прежних владельцев на холщовых переплетах писались новые фамилии, которые, в свою очередь, давали место новейшим. На многих книгах красовались бессмертные изречения вроде: «Читаю книгу, а вижу фигу», или:

Сия книга принадлежит,  
Никуда не убежит,  
Кто возьмет ее без спросу,  
Тот останется без носу,

или наконец: «Если ты хочешь узнать мою фамилию, см. стр. 45». На 45 странице стоит: «См. стр. 118», а 118-я страница своим чередом отсылает любопытного на дальнейшие поиски, пока он не приходит к той же самой странице, откуда начал искать незнакомца. Попадались

также нередко обидные и насмешливые выражения по адресу учителя того предмета, который трактовался учебником.

– Берегите ваши руководства, – сказал Петух, когда раздача кончилась, – не делайте на них различных... э... как бы сказать... различных неприличных надписей... За утеранный или попорченный учебник будет наложено взыскание-с и будут удержаны... э... как бы сказать... деньги-с... с виновного-с... Затем назначаю старшим в классе Сельского. Он – второгодник и все знает-с, всякие... как бы сказать... порядки-с и распорядки-с... Если вам будет что-либо непонятно или... как бы сказать... желательно-с, извольте обращаться ко мне через него. Затем-с...

Кто-то отворил двери. Петух быстро обернулся и прибавил полупрошептом:

– А вот и преподаватель русского языка.

Вошел с классным журналом под мышкой длинноволосый блондин иконописного облика, в поношенном сюртуке, такой высокий и худой, что ему приходилось довольно горбиться. Сельский закричал: «Встать! Смирно!» – и подошел к нему с рапортом: «Господин преподаватель, во втором отделении первого класса N-ской военной гимназии все обстоит благополучно. По списку воспитанников тридцать, один в лазарете, налицо двадцать девять». Преподаватель (его звали Иваном Архиповичем Сахаровым) выслушал это, изобразивши всей своей нескладной фигурой вопросительный знак над маленьким Сельским, который поневоле должен был задирать голову кверху, чтобы видеть лицо Сахарова. Затем Иван Архипович мотнул головой на образ и буркнул: «Молитву!» Сельский совершенно тем же тоном, каким сейчас рапортовал, прочел «Преблагий господи».

– Садитесь! – приказал Иван Архипович и сам влез на кафедру (нечто вроде ящика без задней стенки, поставленного на широкую платформу. Сзади ящика помещался стул для преподавателя, ног которого таким образом класс не видел).

Поведение Ивана Архиповича показалось Буланину более чем странным. Прежде всего он с треском развернул журнал, хлопнул по нему ладонью и, выпятив вперед нижнюю челюсть, сделал на класс страшные глаза. «Точь-в-точь, – подумалось Буланину, – как великан в сапогах-скороходах, прежде чем съесть одного за другим всех мальчиков». Потом он широко расставил локти на кафедре, подпер подбородок ладонями и, запустив ногти в рот, начал нараспев и сквозь зубы:

– Ну-с, орлы заморские... ученички развращенные... Что вы знаете? (Иван Архипович неожиданно качнулся вперед и икнул.) Ничего вы не знаете. Ррровно ничего. И з-знать ничего не будете. Вы дома, небось, только в бабки играли да голубей гоняли по крышам? И пре-кра-асно! Чуд-десно! И занимались бы этим делом до сих пор. Да и зачем вам грамоте-то знать? Не дворянское дело-с. Учитесь не учитесь, а все равно корову через «Ъ» изображать будете, потому... потому... (Иван Архипович опять качнулся, на этот раз сильнее прежнего, но опять справился с собою), потому что ваше призвание быть вечными Ми-тро-фа-ну-шка-ми.

Поговорив в этом духе минут пять, а может быть, и более того, Сахаров вдруг закрыл глаза и потерял равновесие. Локти его расскользнулись, голова беспомощно и грузно упала на раскрытый журнал, и в классе явственно раздался храп. Преподаватель был безнадежно пьян.

Это случалось с ним почти каждый день. Раза два или три в месяц он, правда, являлся трезвым, но эти дни считались роковыми в гимназической<sup>1</sup> среде: тогда журнал украшался бесчисленными «колами» и нулями. Сам Сахаров бывал мрачен и молчалив и за всякое резкое движение высылал из класса. В каждом его слове, в каждой гримасе его опухшего и красного от водки лица чувствовалась глубокая, острая, отчаянная ненависть и к учительскому делу и к тому вертограду, который он должен был насаждать.

---

<sup>1</sup> Конечно, в настоящее время нравы кадетских корпусов переменялись. Наш рассказ относится к той переходной эпохе, когда военные гимназии реформировались в корпус.

Зато воспитанники безнаказанно пользовались теми минутами, когда тяжелый сон похмелья овладевал больной головой Ивана Архиповича. Тотчас же кто-нибудь из «слабеньких» посылался «стеречь» у дверей, наиболее предприимчивые забирались на кафедру, переставляли в журнале баллы и ставили по своему усмотрению новые, вытаскивали из кармана преподавателя часы и рассматривали их, мазали ему мелом спину. Впрочем, к чести их надо сказать, едва только сторож, слышав издали тяжелые шаги инспектора, пускал условное: «Тс... Толкач идет!..» – немедленно десятки услужливых, хотя и бесцеремонных рук принимались тормозить Ивана Архиповича.

Проспав довольно долгое время, Сахаров вдруг, точно от внезапного толчка, поднял голову, обвел класс мутными глазами и строго проговорил:

– Откройте ваши хрестоматии на тридцать шестой странице.

Все открыли книги с преувеличенным шумом. Сахаров указал кивком головы на соседа Буланина.

– Вот вы... господинчик... как вас? Да, да, вы самый... – прибавил он и замотал головой, видя, что Кривцов нерешительно приподнимается, ища вокруг глазами, – тот, что с желтыми пуговицами и с бородавочкой... Как ваше заглавие? Что-с? Ничего не слышу. Да встаньте же, когда с вами говорят. Заглавие ваше как, я спрашиваю?

– Фамилию говори, – шепнул сзади Сельский.

– Кривцов.

– Так и запишем. Что у вас там изображено на тридцать шестой странице, милостивый мой государь, господин Кривцов?

– «Чиж и голубь», – прочел Кривцов.

– Возглашайте-с.

Почти все преподаватели отличались какими-нибудь странностями, к которым Буланин не только привык очень быстро, но даже научился их копировать, так как всегда отличался наблюдательностью и бойкостью. Покамест в продолжение первых дней он разбирался в своих впечатлениях, два человека поневоле стали центральными фигурами в его мировоззрении: Яков Яковлевич фон Шеппе – иначе Петух – и отделенный дядька Томаш Циотух, родом литвин, которого воспитанники называли просто Четухой. Четуха служил, кажется, чуть ли не с основания прежнего кадетского корпуса, но на вид казался еще очень бодрым и красивым мужчиной, с веселыми черными глазами и черными кудрявыми волосами. Он свободно втаскивал каждое утро на третий этаж громадную вязанку дров, и в глазах гимназистов его сила превосходила всякие человеческие пределы. Он носил, как и все дядьки, куртку из толстого серого сукна, сшитую на манер рубахи. Буланин долгое время думал, что эти куртки, от которых всегда пахло щами, махоркой и какой-то едкой кислотой, выделяются из конского волоса, и потому мысленно называл их власяницами. Изредка Четуха напивался. Тогда он шел в спальню, забирался под одну из самых дальних кроватей (всем воспитанникам было известно, что он страшно боялся своей жены, которая его била) и спал там часа три, подложив под голову полено. Впрочем, Четуха не был лишен своеобразного добродушия старого солдата. Стоило послушать, как он, будя по утрам спящих воспитанников и делая вид, будто сдергивает одеяло, приговаривал с напускной угрозой: «Уставайтя! Уставайтя!.. А то я ваши булки зым!.. Уставайтя».

Первые дни Яков Яковлевич и Четуха только и делали, что «пригоняли» новичкам одежду. Пригонка оказалась делом очень простым: построили весь младший возраст по росту, дали каждому воспитаннику номер, начиная с правого фланга до левого, а потом одели в прошлогоднее платье того же номера. Таким образом, Буланину достался очень широкий пиджак, достигавший ему чуть ли не до колен, и необыкновенно короткие панталоны.

В буднее время, осенью и зимой, гимназисты носили черные суконные курточки (они назывались пиджаками), без поясов, с синими погонами, восемью медными пуговицами в один

ряд и красными петлицами на воротниках. Праздничные мундиры носились с кожаными лакированными поясами и отличались от пиджаков золотыми галунами на петлицах и рукавах. Прослужив свой срок, мундир переделывался в пиджак и в таком виде служил уже до истечения. Шинели с несколько укороченными полами выдавались гимназистам для ежедневного употребления под именем тужурок, или «дежурок», как их называл Четуха. В общем, в обыкновенное время младшие воспитанники имели вид чрезвычайно растерзанный и грязный, и нельзя сказать, чтобы начальство принимало против этого решительные меры. Зимой почти у всех «малышей» образовались на руках «цыпки», то есть кожа на наружной стороне кисти шершавела, лупилась и давала трещины, которые в скором времени сливались в одну общую грязную рану. Чесотка тоже была явлением нередким. Против этих болезней, как против всех остальных, принималось одно универсальное средство касторовое масло.

### III

*Суббота. – Волшебный фонарь. – Бринкен торгуется. – Мена. – Покупка. – Козел. – Дальнейшая история фонаря. – Отпуск.*

С поступления Буланина в гимназию прошло уже шесть дней. Настала суббота. Этого дня Буланин дожидался с нетерпением, потому что по субботам, после уроков, воспитанники отпусались домой до восьми с половиной часов вечера воскресенья. Показаться дома в мундире с золотыми галунами и в кепи, надетом набекрень, отдавать на улице честь офицерам и видеть, как они в ответ, точно знакомому, будут прикладывать руку к козырьку, вызвать удивленно-почтительные взгляды сестер и младшего брата – все эти удовольствия казались такими заманчивыми, что предвкушение их даже несколько ступшевывало, оттирало на задний план предстоящее свидание с матерью.

«А вдруг мама не приедет за мной? – беспокоило, в сотый раз, спрашивал сам себя Буланин. – Может быть, она не знает, что нас распускают по субботам? Или вдруг ей помешает что-нибудь? Пусть уж тогда бы прислала горничную Глашу. Оно, правда, неловко как-то воспитаннику военной гимназии ехать по улице с горничной, ну, да что уж делать, если без провозагого нельзя...»

Первый урок в субботу был закон божий, но батюшка еще не приходил.

В классе стоял густой, протяжный, неумолкающий гул, напоминавший жужжание пчелиного роя. Тридцать молодых глоток одновременно пело, смеялось, читало вслух, разговаривало...

Вдруг, покрывая все голоса, в дверях раздался сиплый окрик:

– Эй, малыши! Продаю волшебный фонарь! Совсем новый! Кто хочет купить? А? Продается по случаю очень дешево! Зам-мечательная парижская вещь!

Это предложение сделал Грузов, вошедший в класс с небольшим ящичком в руках. Все сразу затихли и повернули к нему головы. Грузов вертел ящик перед глазами сидевших в первом ряду и продолжал кричать тоном аукциониста:

– Ну, кто же хочет, ребята? По случаю, по случаю... Ей-богу, если бы не нужны были деньги, не продал бы. А то весь табак вышел, не на что купить нового. Волшебный фонарь с лампочкой и с двенадцатью зам-мечательными картинками... Новый стоил восемь рублей... Ну? Кто же покупает, братцы?

Долговязый Бринкен поднялся со своего места и потянулся к фонарю.

– Покажи-ка...

– Чего покажи? Смотри из рук.

– Ну, хоть из рук... а то в ящике-то не видно... Может быть, что-нибудь сломано...

Грузов снял крышку. Бринкен стал осматривать фонарь настолько внимательно, насколько это ему позволяли руки Грузова, крепко державшие ящик.

– Трубка-то... треснула, – заметил немец деловитым тоном.

– Треснула, треснула! Много ты понимаешь, немец, перец, колбаса, купил лошадь без хвоста. Просто распаялась чуть-чуть по шву. Отдай слесарю – за пяточок поправит.

Бринкен заботливо постучал грязным ногтем по жестяной стенке фонаря и спросил:

– А сколько?

– Три.

– Рубля?

– А ты, может быть, думал – копейки? Ишь ловкий, колбасник!

– Н-нет, я не думал... я так просто... Больно дорого. Давай лучше меняться. Хочешь?

Мена вообще была актом весьма распространенным в гимназической среде, особенно в младших классах.

Менялись вещами, книжками, гостинцами, причем относительная стоимость предметов мены определялась полюбовно обеими сторонами. Нередко меновыми единицами служили металлические пуговицы, но не простые, гимназические, а тяжелые, накладные – буховские, первого и второго сорта, причем пуговицы с орлами ценились вдвое, или стальные перышки (и те и другие употреблялись для игры). Также меняли вещи – кроме казенных – на булки, на котлеты и на третье блюдо обеда. Между прочим, мена требовала соблюдения некоторых обрядностей. Нужно было, чтобы договаривающиеся стороны непременно взяли за руки, а третье, специально для этого приглашенное лицо разнимало их, произнося обычную фразу, посвященную многими десятилетиями:

Чур, мена  
Без размена,  
Чур, с разъемщика не брать,  
А разъемщику давать.

Своеобразный опыт показывал, что присутствие при мене одних простых свидетелей иногда оказывалось недостаточным, если при ней не было разъемщика. Недобросовестный всегда мог отговориться:

– А нас разнимал кто-нибудь?  
– Нет, но были свидетели, – возражал другой менявшийся.  
– Свидетели не считаются, – отрезывал первый, и его довод совершенно исчерпывал вопрос – дальше уже следовала рукопашная схватка.  
– Ну, что ж? Будешь меняться? – приставал Бринкен.

Пальцы Грузова сложились в символический знак и приблизились вплоть к длинному носу остзейца.

– На-ка-сь, выкуси.  
– Я тебе дам банку килек и перочинный ножичек, – торговался Бринкен, отворачивая в то же время голову от грузовского кукиша и отводя его от себя рукой.  
– Проваливай!  
– И три десятка пуговиц. Все накладные и из них четырнадцать гербовых.  
– А ну тебя к черту, перец. Отвяжись.  
– И шесть булок.  
– Пошел к черту...  
– Утренних булок. Ведь не вечерних, а утренних.  
– Полезь еще, пока я тебе в морду не дал! – вдруг свирепо обернулся к нему Грузов. – Брысь, колбасник!.. Ну, молодежь, кто покупает? За два с полтиной отдаю, так и быть...  
Новички молчали, но по их горящим глазам видно было, каким высоким счастьем казалось им обладание редкой игрушкой.

– Ну, последнее слово, ребята, – два целковых! – крикнул Грузов, подымая высоко над головой футляр и вертя им. – Самому дороже... Ну – раз! два!

В это время его глаза встретились с напряженным взглядом Буланина.

– А-а! Буланка! – кивнул ему головой Грузов. – Покупай фонарь, Буланушка.

Буланин смутился.

– Я бы с радостью... только...

– Что только? Денег нет? Да я сейчас и не требую. В отпуск пойдешь?

– Да.

– Вот и возьми у родных. Эки деньги – два рубля! Небось, два-то рубля тебе дадут? А? Дадут два рубля, Буланка?

Буланин и сам не мог бы сказать: дадут ему дома два рубля или нет. Но соблазн приобрести фонарь был так велик, что ему показалось, будто достать два рубля самое пустое дело. «Ну, у сестер добуду, что ли, если мама не даст... Вывернусь как-нибудь», – успокаивал он последние сомнения.

– Дома дадут. Дома мне непременно дадут, только...

– Ну вот и покупай, и прекрасно, – сунул ему Грузов в руки ящик. – Твой фонарь – владей, Фаддей, моей Маланьей! Дешево отдаю, да уж очень ты мне, Буланка, понравился. А вы, братцы, – обратился он к новичкам, – вы, братцы, смотрите, будьте свидетелями, что Буланка мне должен два рубля. Ну, чур, мена без размена... Слышите? Ты, гляди, не вздумай надуть, – нагнулся он внушительно к Буланину. – Отдашь деньги-то?

– Ну вот. Конечно, отдам.

– Забожись.

– Вот ей-богу, отдам, честное слово...

– Ладно... А то у нас знаешь как.

И, поднеся к лицу Буланина кулак, Грузов повернулся на каблуках и выплыл из отделения своей шатающейся походкой.

Нового хозяина фонаря тотчас же окружили товарищи. Со всех сторон потянулись жадные руки.

– А ну-ка, покажи фонарь, Буланка. Чего же ты его прячешь? Буланушка, дай посмотреть.

Фонарь стал переходить из рук в руки, вызывая то Завистливые, то деловые, то восторженные, то критические замечания. В общем, однако, игрушка большинству очень понравилась: она обещала в будущем всему отделению много забавных минут. Но сам Буланин, следивший ревнивыми глазами за фонарем, находившимся в чужих руках, в то же время не ощущал в себе ожидаемой радости, – в руках Грузова, издали, фонарь казался гораздо заманчивее и красивее.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.